

Петр Филиппович Якубович

Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность



Петр Якубович

**Николай Некрасов. Его жизнь
и литературная деятельность**

«Public Domain»

1907

Якубович П. Ф.

Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность /
П. Ф. Якубович — «Public Domain», 1907

«...На самого поэта приговор Белинского и Галахова подействовал между тем самым угнетающим образом: с этого, по крайней мере, момента, как будто уверившись в своей поэтической бездарности, он в продолжение нескольких лет пишет стихи только юмористического характера, главным же образом – пытается силы в области прозы. Как известно, в роли беллетриста и критика Некрасов далеко не пошел, и в смысле непосредственной ценности литературное творчество его за пятилетие (1840-1844) является совершенно бесплодным. Другое дело – незримая, подспудная, так сказать, работа таланта, когда, сдерживаемый насильно в известных рамках, он судорожно бился в поисках своей настоящей дороги: указанные годы имели, конечно, огромное значение для определения основного характера некрасовской поэзии...»

© Якубович П. Ф., 1907

© Public Domain, 1907

Содержание

1. Неудачный литературный дебют	5
2. Грустное детство. – Мать и отец. – Исключение из гимназии	13
3. Тяжелая рабочая юность. – Неумирающий идеал. – Смерть матери	21
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Петр Филиппович Якубович Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность

1. Неудачный литературный дебют

25 июля 1839 года петербургский цензор Фрейганг подписал к выпуску в свет тетрадь стихотворений, имевших общий заголовок «Мечты и звуки». Автору их было всего лишь семнадцать лет от роду, хотя перед тем он успел уже напечатать, за полной своей подписью – Н. Некрасов, целый ряд стихотворений в «Сыне Отечества», в «Литературной газете» и в «Прибавлениях к „Инвалиду“». Некоторые из этих юношеских опытов даже обратили на себя внимание любителей поэзии.

После цензурного разрешения можно было приступить к печатанию книги, но, как рассказывал впоследствии сам Некрасов, им овладели тревожные сомнения, и он решил показать раньше свою рукопись признанному королю тогдашних поэтов – Жуковскому. Последний отнесся к юному собрату с теплым сочувствием, увидав в его стихах несомненные задатки поэтического дарования, однако печатать книгу не советовал. К сожалению, было уже поздно: среди знакомых Некрасова прошла на сборник его стихов подписка, и часть полученных от нее денег была израсходована.

– В таком случае, – сказал Жуковский, – не выставляйте, по крайней мере, полного вашего имени на книге. Ограничьтесь инициалами.

Совет этот Некрасов принял к сведению, и в начале следующего года «Мечты и звуки» явились в свет за скромной подписью Н. Н.

Книг выходило в те времена сравнительно немного, и круг вопросов, которых журналы имели право касаться, был до чрезвычайности узок; почти о каждой напечатанной книжке, как бы ничтожно ни было ее значение, непременно появлялись поэтому более или менее пространственные рецензии. «Мечты и звуки» Некрасова не составили исключения из общего правила и вызвали целую кучу отзывов: в «Литературной газете», в «Отечественных записках», в «Современнике», в «Северной пчеле», даже в «Русском инвалиде» и в «Журнале Министерства народного просвещения» (из видных органов промолчал, кажется, один только «Сын Отечества» Полевого, быть может, потому, что на его страницах Некрасов по преимуществу печатал свои стихи). В «Журнале Министерства народного просвещения» стихотворец Менцов, очевидно знавший о возрасте автора книги «Мечты и звуки», дал один из наиболее сочувственных отзывов: рецензент исходил из того мнения, что при разборе сочинений столь юного поэта задача критики не в определении их литературной ценности и значения, а лишь в решении вопроса – есть ли у поэта признаки таланта, обещает ли он в будущем создать произведения, достойные внимания и памяти. «И потому да не дивятся читатели, – замечал Менцов, – если мы будем судить г-на Некрасова (критик считал возможным разоблачить инициалы. – Авт.) снисходительнее, нежели, может быть, следовало бы: похвалами умеренными и справедливыми мы имеем целью ободрить его прекрасный талант и поощрить к дальнейшим трудам в пользу отечественной словесности». Далее рецензент осыпал похвалами отдельные пьесы сборника, защищал юного автора от возможных упреков в подражательности и, в заключение, предрекал Некрасову завидную известность и почетное место в истории русской литературы, под тем, впрочем, условием, если он будет «развивать свое природное дарование изучением творений поэтов, признанных великими от всего просвещенного мира, и чтением лучших Теорий Изящного».

Такою же мягкостью проникнута была и коротенькая заметка «Современника», написанная, вероятно, самим Плетневым:

«Здесь не только мечты и звуки, как выразился поэт, но и мысли, и чувства, и картины. Книжка, заключающая в себе почти одни лирические стихотворения, исполнена разнообразия. В каждой пьесе чувствуется создание мыслящего ума или воображения. Наша эпоха так скудна хорошими стихотворениями, что на подобные явления смотришь с особенным удовольствием. У г-на Н. Н. заметна только некоторая небрежность в отделке стихотворений».

Плетнев, несомненно, тоже хорошо знал, кто скрывается под таинственными инициалами; но автор третьей рецензии, помещенной в «Северной пчеле», прямо заявляет, что имя поэта ему «вовсе неизвестно», что оно, «кажется, в первый раз является в нашей литературе». И, тем не менее, подобно рецензенту «Журнала Министерства народного просвещения», рецензент «Северной пчелы» начинает с положения, что снисходительность – одно из главных условий критики, имеющей перед собою первые опыты юношеского пера, особенно когда в них приметно дарование, которое впоследствии может развернуться; дарование же Н. Н., по мнению критика, не подлежит никакому сомнению и возбуждает самые приятные надежды. Как и Менцов, он ставит лишь на вид юному поэту необходимость «образовать свой талант долгим изучением искусства и непрерывным наблюдением за самим собою».

Далеко не так легко и снисходительно отнесся к «Мечтам и звукам» анонимный критик «Литературной газеты» (где Некрасов не раз помещал перед тем свои стихи), а равно и Белинский в «Отечественных записках». Оба отзыва до того сходны по мыслям, по тону и самому слогу, что и в первом из них можно было бы заподозрить перо Белинского (тем более что последний сотрудничал и в «Литературной газете»), если бы не существовало прямых указаний на принадлежность этой рецензии Галахову.

«Особенность подобных г-ну Н. Н. поэтов и писателей вообще, – говорилось в рецензии, – заключается в том, что они суть нечто до тех пор, пока не издадут полного собрания своих сочинений: тогда они становятся ничто». «Название Мечты и звуки совершенно характеризует стихотворения г-на Н. Н.: это не поэтические создания, а мечты молодого человека, владеющего стихом и производящего звуки правильные, стройные, но не поэтические».

Почти то же и почти в тех же выражениях высказал и Белинский в «Отечественных записках». Если проза может еще удовлетворяться гладкой формой и банальным содержанием, то «стихи решительно не терпят посредственности». Читая такие стихи, вы чувствуете иногда, что автор их – человек несомненно благородный и искренний, но в то же время видите, что эти благородные чувства «...так и остались в авторе, а в стихи перешли только отвлеченные мысли, общие места, правильность, гладкость и – скука. Душа и чувство есть необходимое условие поэзии, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазия, способность вне себя осуществить внутренний мир своих ощущений и идей и выводить вовне внутренние видения своего духа... Прочтешь книгу стихов, встретишь в них все знакомые и истертые чувствованья, общие места, гладкие стишки и много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души в куче рифмованных строчек, – воля ваша, это чтение или, лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики, для которой довольно прочтешь о них в журнале известие, вроде: выехал в Ростов».

Мы потому так подробно остановились на шуме, вызванном в литературе первым поэтическим выходом Некрасова, что шум этот, несомненно, оказал большое и существенное влияние на дальнейшую судьбу поэта. Авторитетный отзыв Белинского, высказанный в марте 1840 года, сразу заглушил все сочувственные голоса, и о «Мечтах и звуках» установилось с тех пор прочное мнение как о книжке стихов до последней степени ничтожных и бесталаных.

«Интерес книжки в том, – читаем в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (в статье С. А. Венгерова), – что мы здесь видим Некрасова в сфере совершенно ему чуждой, в роли сочинителя баллад с разными страшными заглавиями, вроде „Злой дух“, „Ангел смерти“,

„Ворон“ и т. п. „Мечты и звуки“ характерны не тем, что являются собранием плохих стихотворений Некрасова и как бы низшей стадией в творчестве его, а тем, что они никакой стадии (курсив словаря. – Авт.) в развитии таланта Некрасова собою не представляют. Некрасов, автор книжки „Мечты и звуки“, и Некрасов позднейший – это два плюса, которых нет возможности слить в одном творческом образе».

На самого поэта приговор Белинского и Галахова подействовал между тем самым угнетающим образом: с этого, по крайней мере, момента, как будто уверившись в своей поэтической бездарности, он в продолжение нескольких лет пишет стихи только юмористического характера, главным же образом – пытается силы в области прозы. Как известно, в роли беллетриста и критика Некрасов далеко не пошел, и в смысле непосредственной ценности литературное творчество его за пятилетие (1840-1844) является совершенно бесплодным. Другое дело – незримая, подспудная, так сказать, работа таланта, когда, сдерживаемый насильно в известных рамках, он судорожно бился в поисках своей настоящей дороги: указанные годы имели, конечно, огромное значение для определения основного характера некрасовской поэзии. Об этом, впрочем, ниже; теперь же остановимся на минуту на возникающем невольно вопросе: насколько был прав или неправ Белинский в суровом осуждении первых поэтических опытов Некрасова? И верно ли держащееся до сих пор мнение, будто опыты эти не стоят решительно ни в какой связи с позднейшим обликом «музы мести и печали»?

Взятая сама по себе, книжка «Мечты и звуки», несомненно, очень слаба, так что у Белинского (к тому же только что переехавшего из Москвы в Петербург и не подозревавшего, что Некрасов еще так зелен) было очень мало данных для того, чтобы отнестись к ней как-нибудь иначе. Другое дело – критика наших дней. Для нас «Мечты и звуки», – если бы это была и действительно вполне бездарная в художественном отношении книга, – имеют интерес совершенно особого рода: это – первый опыт поэта с могучими поэтическими силами, и крайне любопытно знать, нет ли в этом опыте, хотя бы и в зачаточном виде, элементов того настроения, которое так ярко сказалось в его позднейшем творчестве. Подходя к вопросу с такой точки зрения, рассматривая «Мечты и звуки» с высоты почти семидесяти лет, мы должны признать чересчур суровым приведенный выше отзыв С. А. Венгерова. Прежде всего, нельзя сказать, что в «Мечтах и звуках» Некрасов является в роли сочинителя страшных баллад, так как баллад этих (не по заглавию только страшных) в книжке ничтожное меньшинство, всего две-три из общего числа сорока четырех пьес; а затем нужно заметить, что уже самая нелепость содержания и примитивность формы обличают их принадлежность к наиболее раннему, отроческому периоду творчества Некрасова. Со слов сестры поэта известно, что, покидая шестнадцатилетним мальчиком отцовский дом, он увез с собою толстую тетрадь с детскими стихотворными упражнениями. («За славой я в столицу торопился», – вспоминал он на смертном одре). Это было 20 июля 1838 года, а с сентябрьской книжки «Сына Отечества» за тот же год стихи Некрасова уже стали печататься.

Позволительно также предположить, что молодой поэт, уже сумевший перед тем написать незаурядное стихотворение «Жизнь», и поместил-то эти баллады в свой сборник единственно ради внешнего его округления, а быть может, и ради... умиловления безмерно строгой тогда цензуры. Следы ее властной руки можно найти в этом сборнике не только в виде разбросанных там и сям точек. Так, в стихотворении «Поэзия» читаем:

Я владею чудным даром,
Много власти у меня,
Я взволную грудь пожаром,
Брошу в холод из огня;
Разорву покровы ночи,
Тьму веков разоблачу,

Проникать земные очи
В мир надзвездный научу...
Возложу венец лавровый
На достойного жреца
Или в миг запру в оковы
Поносителя венца.

Не надо обладать особенной проницательностью, чтобы догадаться, что последний стих в первоначальном тексте читался, по всей вероятности: «Я носителя венца», и что печатной своей нелепой формой он обязан мнительности цензора Фрейганга, которому всякий «венец» (хотя бы то был венец Нерона) казался чем-то неприкосновенным. Быть может, об этой именно остроумной цензорской поправке вспоминал Некрасов двадцать пять лет спустя, когда в уста не в меру ретивого стража печати вкладывал следующее признание:

Да! меня не коснутся упреки,
Что я платы за труд вас лишал.
Оставлял я страницы и строки,
Только вредную мысль исключал.
Если ты написал: «Равнодушно
Губернатора встретил народ»,
Исключу я три буквы: «Радушно»
Выйдет... Что же? Три буквы не в счет!

1

Если заодно со «страшными» балладами исключить из сборника и некоторое количество просто бесцветных и бессодержательных детских стишков, вроде «Турчанки» (у которой кудри – «вороновы перья, черны, как гений суеверья, как скрытой будущности даль») или «Ночи» («Ах туда, туда, туда – к этой звездочке унылой чародейственной силой занеси меня, мечта!»), то большинство пьес книги окажется проникнуто весьма определенным взглядом на жизнь, на достоинство и призвание человека, поэта в особенности, – взглядом, который ни в каком случае нельзя назвать «полюсом, противоположным» позднейшей некрасовской поэзии.

Вот, например, диалог, в котором душа в ответ на соблазны тела гордо заявляет:

Прочь, искуситель! Не напрасно
Бессмертьем я освящена!
.....
И хоть однажды, труп бессильный,
Ты мне уступишь торжество!

В другом стихотворении великолепный некогда, а теперь разрушенный Колизей находит утешение в мысли, что хотя он и погиб, но уже много столетий стоит, не обрызганный живой человеческой кровью. Или – стихотворение «Мысль»:

¹ Тургенев вспоминает: «Особенным юмором отличался цензор Ф., тот самый, который говаривал: „Помилуйте, я все буквы оставлю, только дух повытравлю“». Он мне сказал однажды, с чувством глядя в глаза: «Вы хотите, чтоб я не вымарывал? Но посудите сами: я не вымараю – и могу лишиться трех тысяч рублей в год, а вымараю – кому от этого какая печаль? Были словечки, нет словечек... Ну, а дальше? Как же мне не мараить?! Бог с вами!» («Литературные и житейские воспоминания»). Очевидно, Тургенев имел в виду того же Фрейганга. Здесь и далее звездочкой со скобкой обозначены примечания автора, а простой звездочкой – примечания редактора данного переиздания.

Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый...
Скрой безобразье наготы
Опять под мрачной ризой ночи!
Поддельным блеском красоты
Ты не мои обманешь очи.

Все это выражено, правда, по-детски, в неярких и подчас аляповатых стихах; однако сквозит во всем этом серьезное, вдумчивое отношение к жизни; уже и здесь перед нами не просто лишь созерцательная поэтическая натура, непосредственно и безразлично отдающаяся «всем впечатленьям бытия», а мыслящая душа, предъявляющая к жизни свои требования и запросы.

Вот какие негодующие строки находим, например, в стихотворении «Жизнь»:

Из тихой вечери молитв и вдохновений
Разгульной оргией мы сделали тебя ²,
И губительно парит над нами злобы гений,
Еще в зародыше все доброе губя.
Себялюбивое, корыстное волнение
Обуревают нас, блаженства ищем мы,
А к пропасти ведет порок и заблуждение
Святою верою нетвердые умы.
Поклонники греха, мы не рабы Христовы;
Нам тяжек крест скорбей, даруемый судьбой;
Мы не умеем жить, мы сами на оковы
Меняем все дары свободы золотой.
...Искусства нам не новы:
Не сделав ничего, спешим мы отдохнуть;
Мы любим лишь себя, нам дружество – оковы,
И только для страстей открыта наша грудь.
И что же, что оне безумным нам приносят?
Презрительно смеясь над слабостью земной,
Священного огня нам искру в сердце бросят
И сами же зальют его нечистотой!
За наслажденьями, по их дороге смрадной,
Слепея, мы идем и ловим только тень;
Терзают нашу грудь, как коршун кровожадный,
Губительный порок, бездейственная лень.
И после буйного минутного безумья,
И чистый жар души, и совесть погубя,
Мы с тайным холодом неверья и раздумья
Проклятью предаем неистово тебя!

Стихи эти, правда, слишком явно навеяны страстным обвинением, которое великий поэт бросил перед тем в лицо русскому обществу («Дума» Лермонтова появилась в том же 1839 году в январской книге «Отечественных записок», то есть всего за полгода до цензурского разрешения сборника «Мечты и звуки»); и тем не менее нельзя отрицать, что в «Жизни» Некрасова слышится и оригинальная нота, искренний религиозный пафос; некоторые стихи не лишены

² то есть жизнь.

и известной красоты и силы выражения. Во всяком случае, так может «подражать» далеко не всякий семнадцатилетний стихотворец...

Самую миссию поэта юный Некрасов понимает в возвышенном, почти экзальтированном смысле:

Кто духом слаб и немощен душою,
Ударов жребия могучею рукою
Бесстрашно отразить в чьем сердце силы нет,
Кто у него пощады вымоляет,
Кто перед ним колена преклоняет,
Тот не поэт!
Кто юных дней губительные страсти
Не подчинил рассудка твердой власти,
Но, волю дав и чувствам, и страстям,
Пошел, как раб, вослед за ними сам,
Кто слезы лил в годину испытанья
И трепетал под игом тяжких бед,
И не сносил безропотно страданья,
Тот не поэт!
На Божий мир кто смотрит без восторга,
Кого сей мир в душе не вдохновлял,
Кто пред грозой разгневанного Бога
С мольбой в устах во прах не упал,
Кто у одра страдающего брата
Не пролил слез, в ком состраданья нет,
Кто продает себя толпе за злато,
Тот не поэт!
Любви святой, высокой, благородной
Кто не носил в груди своей огня,
Кто на порок презрительный, холодный
Сменил любовь, святыни не храня;
Кто не горел в горниле вдохновений,
Кто их искал в кругу мирских сует,
С кем не беседовал в часы ночные гений —
Тот не поэт!

Не думаем, чтобы эти мысли были плодом одного только подражания романтической школе: в значительной степени это искренние юношеские мечты о высоком призвании писателя. Из другого стихотворения («Изгнанник») мы узнаем, что уже рано действительность грубою рукою прикоснулась к светлым мечтаньям поэта и он «очутился на земле».

Ты осужден печать изгнанья
Носить до гроба на челе, —
сказал ему тогда таинственный голос, —
Ты осужден ценой страданья
Купить в стране очарованья
Рай, недоступный на земле!

И поэт не теряет бодрости; он даже полюбил свой крест:

Теперь отрадно мне страдать,
Полами жесткой власяницы
Несчастий пот с чела стирать!

За туманно-романтической формой как будто чувствуется здесь и нечто автобиографическое (печальное детство; разрыв с отцом, бросившим юношу-поэта почти нищим на мостовой большого города), как будто слышится искренняя нота горделивой уверенности в том, что, и «очувтившись на земле», он не утратил стремления к идеалу: хотя бы «ценой страданья» он придет все же в обетованную землю!

Красавица, не пой веселых песен мне!
Они пленительны в устах прекрасной девы,
Но больше я люблю печальные напевы...-

читаем в другой пьесе, интересной в том отношении, что здесь впервые выступает образ матери Некрасова, воспетый им позже в таких чудных трогательных стихах. Унылый напев, объясняет поэт, в особенности мил ему потому,

Что в первый жизни год родимая с тоской
Смиряла им порыв ребяческого гнева,
Качая колыбель заботливой рукой;
Что в годы бурь и бед заветною молитвой
На том же языке молилась за меня;
Что, побежден житейской битвой,
Во власть ей отдался я, плача и стена...

Следует еще отметить глубокую религиозность, характеризующую сборник «Мечты и звуки». В каждом почти стихотворении встречаем упоминание о Боге, о молитве, о необходимости «путь к знаниям верой осветить» и «разлюбить родного сына за отступление от Творца». Дух сомнения представляется Некрасову злым духом, и он советует не верить сердца «его всегда недоброму внушенью»:

Порыв души в избытке бурных сил,
Святой восторг при взгляде на творенье,
Размах мечты в полете вольных крыл,
И юных дум кипучее паренье,
И юных чувств неомраченный пыл —
Все осквернит печальное сомненье!

Напомним еще раз читателю, с какой точки зрения оцениваем мы «Мечты и звуки», резюмируем теперь наше общее впечатление. Книжка эта является, по нашему мнению, не столько продуктом сознательного литературного подражания романтической школе, сколько зеркалом детски неопытной и наивной, но глубоко искренней, религиозно и поэтически настроенной юной души. Слабые в художественном отношении, стихи эти обнаруживают тем не менее богатый запас нетронутой душевной силы и свежего чувства. Позднейшему, знаменитому Некрасову, кроме плохой формы, положительно нечего в них стыдиться: по альтруистически возвышенному настроению своему «Мечты и звуки» являются именно подготовительной, «низшей стадией» его творчества, отнюдь не звучащей в нем диссонансом. И нам кажется, что зна-

комство с этой «детской» книжкой Некрасова делает менее странным факт «внезапного», как обыкновенно думают, превращения посредственного рассказчика и куплетиста в первостепенного лирика.

Отметим в заключение одну любопытную черту, касающуюся внешней формы стихов сборника «Мечты и звуки». Оказывается, что уже в эту раннюю пору Некрасов не питал такого исключительного пристрастия к ямбу, как Пушкин и поэты его школы: из сорока четырех пьес сборника ямбом написана лишь половина, другая половина – амфибрахием, дактилем и хореем (нет только излюбленного впоследствии Некрасовым анапеста). Встречаются уже и столь характерные для позднейшего Некрасова трехсложные рифмы:

Мало на долю мою бесталанную
Радости сладкой дано.
Холодом сердце, как в бурю туманную,
Ночью и днем стеснено.
В свете как лишний, как чем опозоренный,
Вечно один я грущу...

Довольно часты также рискованные рифмы, которыми поэт и впоследствии не брезговал: буду – минуту, слепо – небо, брата – отрада и т. п.

2. Грустное детство. – Мать и отец. – Исключение из гимназии

Кто же был этот юноша-идеалист, потерпевший такое жестокое крушение при первой же попытке выйти в тревоженное литературное море?

Николай Алексеевич Некрасов родился 22 ноября 1821 года в каком-то захолустном местечке Винницкого уезда Подольской губернии, где квартировал полк его отца, поручика Алексея Сергеевича Некрасова, богатого ярославского помещика. Этот внешне блестящий и не лишенный природного ума офицер был, в сущности, заурядным армейцем двадцатых годов, выросшим в мрачных условиях крепостного права, – «красивым дикарем», едва умевшим подписать свое имя и больше всего на свете интересовавшимся картежной игрой, псовой охотой, женщинами и кутежами. Карты были, впрочем, родовой страстью Некрасовых: по семейному преданию, прадед поэта (воевода) и дед (штык-юнкер в отставке) проиграли в карты несколько тысяч душ крестьян; как известно, не чужд был той же слабости и сам поэт...

В 1817 году «красивым дикарем»-поручиком увлеклась, однако, красавица полька Елена Андреевна Закревская, и, так как родители последней, очевидно, неблагоприятно относились к этому увлечению, состоялся тайный увоз молодой девушки и тайный же брак. Такова семейная легенда, известная читающей России по стихам нашего поэта... Легенде этой как будто несколько противоречит ставшая теперь известной выписка из метрической книги Успенской церкви Винницкого повета³ о браке «адъютанта-поручика 28-го егерского полка, 3-й бригады, Алексея Сергеева сына Некрасова греко-российского исповедания с дочерью титул, советника Андрея Семенова Закревского Еленю, того же исповедания, по учинении троекратного извещения и по взятии обыска». На первый взгляд эта выписка категорически опровергает и предание о тайном, торопливо совершенном обряде венчания, и даже о польском аристократическом происхождении матери Некрасова... Но мы не решились бы на такой скороспелый вывод: ведь в православие Елена Закревская могла перейти перед самой свадьбой, – при желании священника это могло быть делом одного дня... И, при его же желании (а богатый офицер Некрасов без труда мог его вызвать), в метрическую книгу могли быть записаны также совершенно фантастические сведения об «учинении троекратного извещения» и о «взятии обыска»... Как бы то ни было, пуская в свет «легенду», поэт основывался не только на воспоминаниях раннего детства, но и на знаменитом «письме», содержание которого он излагает в одной из задушевнейших своих поэм («Мать») и которое он, несомненно, держал в руках, уже будучи юношей:

Я разобрал хранимые отцом
Твоих работ, твоих бумаг остатки
И над одним задумался письмом.
Оно с гербом, оно с бордюром узким;
Исписан лист то польским, то французским,
Порывистым и страстным языком.

Брак родителей Некрасова, брак по страстной любви, оказался, к сожалению, несчастным... Прекрасно воспитанная, на редкость образованная по тому времени женщина, мать Некрасова была необычным, редким явлением в малокультурном русском обществе, случайной, экзотической его гостьей; напротив, отец, – не представлявший, правда, чего-либо исключительно чудовищного на фоне мрачной эпохи двадцатых-тридцатых годов, – был самым

³ Повет – уезд, часть области или губернии со своим управлением (Словарь В. Даля).

типичным тогдашним помещиком, в достаточной степени умевшим отравлять жизнь не только своим крепостным, но и собственной семье, хотя, надо сознаться, сын не пожалел темных красок для его обрисовки: дикарь, угрюмый невежда, деспот и даже палач – подобные характеристики так и мелькают в тех местах стихотворений и поэм Некрасова, которые посвящены воспоминаниям об отце.

Последний бросил военную службу, когда будущий поэт был еще очень мал. Некрасовы переселились после этого в родовое поместье Грешнево (Ярославской губернии), и здесь потекла та удушливая, мрачная жизнь, с которой мы так хорошо знакомы по «Родине», «Несчастливым», «Матери» и другим поэмам и мелким стихотворениям. Отец бражничал или пропадал целыми днями на охоте, мать, оскорбленная и униженная в лучших своих чувствах, жила одинокой, замкнутой жизнью... Число детей быстро росло (у Некрасова было братьев и сестер тринадцать человек), но вместе с тем отношения родителей становились все холоднее и отчужденнее.

Твой властелин, – обращается поэт, уже умирая сам, к покойной матери, —

...наследственные нравы
То покидал, то буйно проявлял;
Но если он в безумные забавы
В недобрый час детей не посвящал,
Но если он разнузданной свободы
До роковой черты не доводил, —
На страже ты над ним стояла годы,
Покуда мрак в душе его царил.

А в «Несчастливых» находим и более подробную картину семейной жизни (хотя, в общем, герой поэмы и не может быть отождествлен с автором, но изображение его детства и юности, несомненно, автобиографично):

Рога трубят ретиво,
Пугая ранний сон детей,
И воют псы нетерпеливо...
До солнца сели на коней —
Ушли... Орды вооруженной
Не видит глаз, не слышит слух.
И бедный дом, как осажденный,
Свободно переводит дух.
.....
Осаду не надолго сняли...
Вот вечер – снова рог трубит.
Примолкнув, дети побежали,
Но мать остаться им велит:
Их взор уныл, невнятен лепет...
Опять содом, тревога, трепет!
А ночью свечи зажжены,
Обычный пир кипит мятежно,
И бледный мальчик, у стены
Прижавшись, слушает прилежно
И смотрит жадно (узнаю
Привычку детскую мою)...

Что слышит? Песни удалые
Под топот пляски удалой;
Глядит, как чаши круговые
Пустеют быстрой чередой;
Как на лету куски хватают
И рот захлопывают псы...
:~::~:~::~:
Смеются гости над ребенком,
И чей-то голос говорит:
«Не правда ль, он всегда глядит
Каким-то травленным волчком?
Поди сюда!» Бледнеет мать;
Волчонок смотрит – и ни шагу.
«Упрямство надо наказать —
Поди сюда!» – волчонок тягу...
«А-ту его!» Тяжелый сон...

Николай Алексеевич, первенец в семье, был, по-видимому, много старше своих многочисленных братьев и сестер, и одинокое детство его протекало в невыносимо душной нравственной атмосфере. Чтобы получить о ней понятие, достаточно прочесть «Родину» или другое стихотворение того же периода – «В неведомой глуши», которое автор, по не совсем понятным для нас мотивам, не хотел признавать оригинальным. Первоначально стихотворение было озаглавлено «Из Ларры», позже – «Подражание Лермонтову», причем в авторском экземпляре сделано было такое примечание: «Сравни: Арбенин (в драме Маскарад). Не желаю, чтобы эту подделку ранних лет считали как черту моей личности». И еще следовало ироническое добавление: «Был влюблен и козырнул». То есть: порисовался демоническим плащом сильного, много испытавшего, во всем разочаровавшегося человека...

Позволительно, однако, усомниться в полной искренности этого примечания.

Сходство стихотворений с монологами Арбенина очень слабое, чисто формальное; самый мотив разработан в нем с такими пластически реальными подробностями и столь оригинально, что «подражанием» назвать эти стихи невозможно. Несомненно, что поэта смущали следующие строки его пьесы:

Я в мутный ринулся поток И молодость мою постыдно и безумно
В разврате безобразном сжег.

И действительно, по отношению к личной его биографии это абсолютная неправда! Если и были в молодости Некрасова не совсем безгрешные увлечения, то, конечно, в ней было во сто раз больше непосильно тяжелого труда, мучений бедности, благородных юношеских стремлений... Начало стихотворения дает зато вполне верную картину растлевающего влияния на юную душу отцовского дома с его рабовладельческими нравами и инстинктами:

В неведомой глуши, в деревне полудикой,
Я рос средь буйных дикарей,
И мне дала судьба, по милости великой,
В руководители псарей.
Вокруг меня кипел разврат волною грязной,
Боролись страсти нищеты,⁴
И на душу мою той жизни безобразной

⁴ то есть разоренных и озлобленных рабов-крестьян

Ложились грубые черты.
И прежде чем понять рассудком неразвитым,
Ребенок, мог я что-нибудь,
Проник уже порок дыханьем ядовитым
В мою младенческую грудь.

Ведь это почти то же, что находим мы и в знаменитой «Родине», где Некрасов несомненно уже говорит о самом себе:

И вот они опять, знакомые места,
.....
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно растленной,
Так рано отлетел покой благословенный
И не ребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег...

Какие тяжелые, поистине кошмарные воспоминания вынес поэт из своего детства, видно из заключительных строк той же «Родины»:

И, с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор...

После этого отнюдь не кажется преувеличением страдальческий крик:

Всему, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым,
Всему начало здесь, в краю моем родимом!

По счастью, в том же родном краю и в том же раннем детстве Некрасова лежит начало и всему, что было благословением его жизни. Это – обаятельно-светлый образ рано умершей мученицы-матери, навсегда воплотившей для него идеал любви и гуманности! Без преувеличения можно сказать, что более трогательного, более поэтического образа не знает не только русская поэзия, но, быть может, и вся русская литература... Смягчая и просветляя мрачные звуки некрасовской лиры, образ этот не раз спасал и самого поэта от конечного падения...

Повидайся со мною, родимая,
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозой сердитою
Простояла ты, грудью своей
Защищая любимых детей.
.....
Треволненья мирского далекая,

С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой величаво-безгласная
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне
При волшебнo-свeтящeй лунe.
Да! я вижу тебя, бледнолицую,
И на суд твой себя отдаю.
Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты музу мою:
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощeния
Ты, чистейшей любви божество!
.....
Увлекаем бесславною битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал – и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

Читатель, конечно, десятки раз перечитывал эту бесконечно трогательную молитву-жалобу – и, тем не менее, мы уверены, что он не посетует на нас за длинную выписку...

«Если бы Некрасов ни одной строки больше не написал, кроме этого изумительного стихотворения, – говорит Н. К. Михайловский по поводу „Рыцаря на час“, – то оно одно уже обеспечивало бы ему „вечную память“; едва ли кто-нибудь, по крайней мере в молодости, мог читать его без предсказанных поэтом „внезапно хлынувших слез с огорченного лица“. Мне вспоминается один вечер или ночь зимой 1884-го или 1885 года. Я жил в Любани, ко мне приехали из Петербурга гости, большею частью уже немолодые люди, в том числе Г. И. Успенский. Поговорили о петербургских новостях, о том, о сем; потом кто-то предложил по очереди читать. Г. И. Успенский выбрал для себя „Рыцаря на час“. И вот: комната в маленьком деревянном доме; на улице, занесенной снегом, мертвая тишина и непроглядная тьма; в комнате, около стола, освещенного лампой, сидит несколько человек, повторяю, большею частью немолодых; Глеб Иванович читает; мы все слушаем с напряженным вниманием, хотя наизусть знаем стихотворение. Но вот голос чтеца слабеет, слабеет и – обрывается: слезы не дали кончить... Простите, читатель, это маленькое личное воспоминание. Но ведь оно, пожалуй, даже не личное. По всей России ведь рассыпаны эти маленькие деревянные домики на безмолвных и темных улицах; по всей России есть эти комнаты, где читают (или читали?) „Рыцаря на час“ и льются (или лились?) эти слезы...»

Для нас важно сейчас констатировать, что эта способность будить в читателях «благие порывы» в свою очередь заложена была в душу Некрасова его матерью. Полька по происхож-

дению и воспитанию, против воли родителей вышедшая за русского офицера, после нескольких лет походной жизни она очутилась в чужой ей до тех пор, грубой обстановке захолустного помещичьего дома и здесь, окруженная «роем подавленных и трепетных рабов», одинокая, оскорбленная, увядала, как та сказочная царевна, которую жестокий колдун держит и терзает в плену... Но в сказке, с горечью говорит Некрасов в своих «Несчастных», придет благородный витязь, убьет злого волшебника и, бросив к ногам освобожденной красавицы ключья его негодной бороды, предложит ей свою руку и сердце... В действительности все было ужаснее. Без всякой надежды на освобождение, «любя, прощая, чуть дыша», «святая женская душа» целых двадцать лет провела в своей пустыне, – всю молодость, всю жизнь!

По счастью, мать Некрасова умела не только плакать и «легкой тенью» бродить по липовым аллеям грешневского сада; не умея бороться активно, она в высокой степени обладала способностью борьбы пассивной, она была «горда и упорна» (качество, всецело унаследованное и ее сыном-первенцем). Она могла терпеть, нести свой крест «в молчании рабы», но жила и действовала все-таки по-своему, так, как подсказывало ей любящее сердце. Ее сын и певец рассказывает, что, осужденная сама на страдания, за страдания же полюбила она и свою новую родину.

Несчастлива ты, о родина, я знаю, —

влагает он в ее уста обращение к Польше начала тридцатых годов, эпохи первого польского восстания, —

Весь край в крови, весь заревом объят,
Но край, где я люблю и умираю,
Несчастнее, несчастнее стократ!

И в продолжение двадцати долгих лет она была ангелом-хранителем не только для собственных детей, но и для крепостных рабов. «Ты не могла голодному дать хлеба, ты не могла свободы дать рабу; но лишний раз не сжало чувство страха его души, но лишний раз из трепета и праха он поднял взор бодрее к небесам». И не может быть никакого сомнения в том, что семена любви к несчастному поработанному народу посеяны были в душе нашего поэта именно рукою его страдальницы-матери. Рисуя впоследствии (в поэме «Пир на весь мир») симпатичный образ семинариста Гриши, Некрасов, быть может, не об одном Добролюбова вспоминал, когда говорил:

И скоро в сердце мальчика
С любовью к бедной матери
Любовь ко всей вахлячине
Слилась – и лет пятнадцати
Григорий твердо знал уже,
Что будет жить для счастья
Убогого и темного
Родного уголка...

Если не жить для счастья убогого и темного люда, то работать для него, несомненно, мечтал и юноша Некрасов. Гуманное влияние матери заключалось не в одном лишь примере, но и в непосредственном воздействии. Она была человеком образованным; на полях оставшихся после ее смерти польских книг, привезенных когда-то с далекой родины, сын ее – поэт – нашел впоследствии ряд заметок, обнаруживавших пылкий ум и глубокий интерес к предмету чте-

ния. уходя мыслью к временам раннего детства, он припоминает, как в зимние сумерки у догорающего камина она держала его на коленях и ласковым, мелодическим голосом рассказывала под завывание вьюги сказки «о рыцарях, монахах, королях».

Потом, когда читал я Данте и Шекспира,
Казалось, я встречал знакомые черты:
То образы из их живого мира
В моем уме напечатлела ты.

Таким образом, и первая искра любви к поэзии была заронена в душу Некрасова тоже матерью; известно, что семи лет от роду он уже писал стихи, и даже сохранилось его детское четверостишие, обращенное к матери:

Любезна маменька, примите
Сей слабый труд
И рассмотрите,
Годится ли куда-нибудь.

Из всего этого видно, что чуткая, нервно-впечатлительная душа будущего поэта на заре сознательной жизни находилась под двумя резко противоположными влияниями; и, быть может, эти-то влияния и послужили фундаментом при создании загадочно-сложного, полного таких удивительных контрастов характера поэта; они же определили и характер его одновременно реальной и идеалистической музыки.

Мы проходим мимо гимназического периода жизни Некрасова, так как в литературе имеются пока лишь глухие, отрывочные и часто противоречивые сведения об этих годах. Каковы были его учителя, товарищи? Какой уровень знаний и нравственного развития давала тогдашняя ярославская гимназия своим ученикам? Как жили, что делали и читали эти последние вне стен учебного заведения? Восстановить полную картину этих лет жизни Некрасова вряд ли уже удастся. Одно не подлежит сомнению: пребывание в гимназии в значительной степени освободило Некрасова от гнетущих пут отцовского деспотизма и рано развило в его характере черту самостоятельности. В родительскую деревню он приезжал в эти годы только на рождественские, пасхальные и летние каникулы, все же остальное время жил с младшим братом в городе на частной квартире, пользуясь почти безграничной свободой. Правда, к нему с братом приставлен был крепостной дядька, но надзор этот ограничивался лишь материальной стороной жизни молодых барчуков, а никак не умственной или нравственной. Существует указание (опирающееся, кажется, на рассказ сестры поэта), будто Некрасов-гимназист злоупотреблял этой свободой, участвуя в товарищеских пирушках и других нездоровых развлечениях, учась плохо и к гимназическому начальству относясь непочтительно (между прочим, он писал сатирические стихи на учителей, – обстоятельство, повлиявшее будто бы и на невольное удаление его из четвертого или пятого класса)...

Семейное предание это не следует, однако, принимать с абсолютным доверием. Известно ведь, как относится обыкновенно семья к исключенному из училища юноше: обвиняют во всем его одного, охотно преувеличивают и раздувают до грандиозных размеров его шалости, его распущенность... Тому, что в действительности все было далеко не так, порукой служат те же «Мечты и звуки», составившиеся главным образом из стихотворений, писанных в гимназические годы и, однако, проникнутых светлым идеализмом и глубоким религиозным чувством. Не такова была натура Некрасова, чтобы систематически предаваться лени, шалопайству и тем более распутству. Шестнадцатилетним юношей очутился он на еще большей свободе, в Петер-

бурге, совсем уже вдали от родительского глаза, – и это ничуть не помешало ему (даже если и бывали временами увлечения и ошибки) упорно трудиться и идти по раз намеченному пути. Природная искра Божия и идеалистическое влияние матери, очевидно, были крепким щитом против всех недобрых и темных сил жизни.

3. Тяжелая рабочая юность. – Неумирающий идеал. – Смерть матери

За тяжелой порою детства и отрочества, омраченной ранним знакомством со всей грязью и ужасом крепостного строя русской жизни, последовала еще более безрадостная и мрачная юность. Вскоре она затмила собою самые ужасные воспоминания ранних лет, и, как это часто случается, юноше начало даже казаться, что позади остались одни лишь «ручейки, долины, холмики, лески и все, чем в доле беззаботной в деревне счастлив земледел, чему б теперь опять охотно душой предаться я хотел» («Мечты и звуки»).

Я был несчастней, —

сравнивает он дальше свою долю с долей земляка-товарища, тоже попавшего в Петербург, —

...Я пил дольше
Очарованье бытия,
Зато потом и плакал больше,
И громче жаловался я.

Как известно, из-за ссоры с отцом сын богатого сравнительно помещика, Некрасов очутился один-одинешенек на улицах огромного города, в положении почти нищего; но на психологическую сторону этого превращения как-то мало обращалось до сих пор внимания. По исключению из гимназии поэту грозила серьезная опасность пойти по следам предков, в ранние годы поступавших в военную службу и там, в душной атмосфере казармы, доканчивавших свое воспитание или, лучше сказать, развращение, начатое в рабовладельческой усадьбе. Военщина являлась в те времена не только последним прибежищем для всех недорослей из дворян, неудачников на других путях жизни, но и окружена была в глазах обывателя известным ореолом как одна из наиболее завидных жизненных карьер. О такой карьере для сына мечтал отец; толкали юношу на проторенный путь и материальные затруднения родителей; семья их все росла, а денежные средства благодаря широким привычкам главы дома все таяли (одно время Некрасова-отца соблазнила даже должность исправника): на продолжительную и значительную поддержку из дому юноша рассчитывать поэтому не мог. И вот летом 1838 года⁵ его отправили с рекомендательным письмом к жандармскому генералу Полозову в Петербург, для поступления на казенный счет в один из кадетских корпусов.

В Петербург Некрасов явился, письмо Полозову передал, но вместо корпуса стал готовиться к экзаменам в университет и, как бы бросая вызов ненавистному прошлому, в сентябрьской книжке «Сына Отечества» напечатал первое свое стихотворение – «Мысль»:

Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый!..

Биографы поэта утверждают, что все это вышло случайно: Некрасов познакомился, мол, со студентом Глушицким, и тот так «увлек его рассказами о преимуществах университетского образования», что мысль о корпусе была брошена. В действительности вряд ли произошло это

⁵ Сам Некрасов называл 1837 год, год смерти Пушкина, но точное указание сестры его (20 июня 1838 года), по-видимому, более соответствует действительности.

так уж случайно: ведь не Глушицкий же заставил Некрасова, почти на другой день по приезде в Петербург, понести свои стихи в журнал Полевого. Очевидно, и сам поэт не хуже других понимал все преимущества интеллектуальной карьеры перед фронтальной шагистикой. Знакомство со студенческим кружком сыграло, по всей вероятности, в его решении лишь роль последней капли, переполнившей чашу.

С легкой или, вернее, тяжелой руки Достоевского утверждается нередко, что «аннибаловой клятвой» Некрасова, данной им себе в юности, была клятва «не умереть на чердаке». Сам Достоевский высказывает эту странную мысль в довольно грубой и ядовитой форме: «Миллион – вот демон Некрасова... демон, который осилил, и человек остался на месте и никуда не пошел (?). Этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца... Тогда-то и начались, быть может, мечтания Некрасова, может быть, и сложились тогда же на улице стихи: в кармане моем – миллион! (из поэмы „Секрет“)» (!).

Никто другой из русских писателей не страдал столько от клеветы и сплетен мракобесов и личных недругов, как Некрасов. Это был, можно сказать, какой-то организованный поход... И думается, при всех недостатках характера и ошибках жизни нашего поэта главное основание, главную пищу этим сплетням дали его многочисленные публичные самообвинения, его горячие покаянные песни, плод высокоразвитой, исключительно чуткой совести... Теперь, когда факты жизни Некрасова – его заслуги и его «вины» – более или менее общеизвестны, мы, конечно, вправе назвать грубые намеки Достоевского по меньшей мере необдуманно. Конечно, никакого права не имел он отождествить уродливого героя некрасовской сатиры («И вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!») с самим ее автором! Не имел он права утверждать и вообще, что жажда материального самообеспечения («демон миллиона») была будто бы с юных лет главным двигательным нервом духовной деятельности Некрасова... Не говоря уже о том, что никакого «миллиона», – как мы теперь знаем, – Некрасов к концу жизни не стяжал, утверждение это во всех отношениях абсурдно – оно разлетается в прах при первом прикосновении критики. Как, в самом деле, странно поведение некрасовского «демона»!

Придается огромное значение «аннибаловой клятве» Тургенева, выразившего свой протест против крепостного права в свойственной ему форме мягких художественных образов, которые так восхищают нас в «Записках охотника»; но разве же можно сравнивать этот «прекраснодушный», в сущности, протест с действительно пламенным протестом Некрасова, всю жизнь буквально горевшего «святым беспокойством» за судьбы народа? Здесь перед нами всеобъемлющая страсть, о которой поэт имел бы полное право сказать словами лермонтовского героя:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла!
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской.

Эта страсть проникла в душу Некрасова еще в раннем отрочестве, на волжском берегу, при виде шедших бечевою и певших заунывные песни бурлаков.

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал

Рекою рабства и тоски!
Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал —
Пушкой умрет в душе моей,
Чтоб кто-нибудь не осмеял!

6

Целых восемь лет (1838-1846) человек подвергается опасности зачахнуть от непосильной и неблагодарной работы, даже буквально умереть с голоду, а между тем стоило ему вернуться на лоно благонамеренности и, помирившись с отцом, поступить в корпус, и он снова был бы сыт, обеспечен и будущее улыбалось бы ему в виде, может быть, блестящей военной карьеры. «Он был бы, если бы захотел, – говорит Н. К. Михайловский, – блестящим генералом, выдающимся ученым, богатейшим купцом. Это мое личное мнение, которое, я думаю, впрочем, не удивит никого из знавших Некрасова». Однако мы знаем, что за все годы своей тяжелой юности он ни разу не подумал ни об одной из подобных возможностей «самообеспечения»... Рисуя впоследствии в «Несчастных» душевное состояние юноши, заброшенного в столичный омут, поэт писал:

Счастлив, кому мила дорога
Стяжанья, кто ей верен был
И в жизни ни однажды Бога
В пустой груди не ощутил.
Но если той тревоги смутной
Не чуждо сердце – пропадешь!
В глухую полночь, бесприютный,
По стогнам города пойдешь.

Так именно и было с Некрасовым. Не «дорога стяжанья» пленяла его; душой его владела иная властная сила, иная «смутная тревога» – страстная любовь к родине и народу, которая могла вылиться в единственно возможной в те времена форме служения родной литературе, – и, несмотря на все частные ошибки и, быть может, даже падения, сила эта всегда брала в его душе верх. Ниже мы помещаем записку Г. З. Елисеева, чрезвычайно интересно и оригинально освещающую эту сторону личности Некрасова; пока же ограничимся сказанным и вернемся к юным годам поэта, к тем обстоятельствам, при которых окончательно сформировались его личность и поэзия.

Первые годы пребывания Некрасова в Петербурге совпали с одним из самых печальных и мрачных периодов в истории русской журналистики вообще и петербургской в особенности. Впоследствии сам Некрасов так охарактеризовал этот период:

В то время пусто и мертво
В литературе нашей было.
Скончался Пушкин – без него
Любовь к ней публики остыла.

⁶ Несмотря на подзаголовок «Детство Валежникова», сразу видно, что в поэме «На Волге» Некрасов рисует собственное детство. По первоначальному плану стихотворение это составляло часть большой поэмы «Рыцарь на час», и пьеса, теперь известная под этим заглавием, называлась в прежних изданиях «Из поэмы Рыцарь на час, гл. VI: „Валежников в деревне“».

Ничья могучая рука
Ее не направляла к цели;
Лишь два задорных поляка
На первом плане в ней шумели...

И в самом деле, со смертью Пушкина литературный диапазон сразу резко сузился... Лучшие приуныли и пали духом, худшие подняли голову и обнаглели... Что касается общества, то оно еще помнило, как рассказывает Тургенев в «Литературных и житейских воспоминаниях», «удар, обрушившийся на самых видных его представителей лет двенадцать перед тем; и из всего того, что проснулось в нем впоследствии, особенно после 55 г., ничего даже не шевелилось, а только бродило – глубоко, но смутно – в некоторых молодых умах. Литературы, в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими, столь же и более важными проявлениями их, – не было, как не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы; а была словесность – и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали».

Действительно, не только в талантливых, но даже и в гениальных представителях литературы в конце тридцатых годов не было недостатка: загоралась яркая звезда Лермонтова; к голосу Белинского уже прислушивалась вся юная Россия; Гоголь был признанным главою «натуральной школы»; жив еще был и Жуковский... Но Белинский лишь в самом конце 1839 года переехал из Москвы в Петербург и в письмах отсюда к московским друзьям долгое время жаловался на полное одиночество. Жуковский жил при дворе и от журнального мира всегда стоял в стороне. Лермонтов, когда не находился в ссылке, вращался также в высшем обществе и к литературе относился с показным пренебрежением. Наконец, Гоголь, в котором в это время начинался уже печальный внутренний перелом в сторону пиетизма, жил большей частью в Риме и лишь редкими наездами бывал в Москве и Петербурге.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.